

**«ЖИЗНЬ ОДНА И СМЕРТЬ ОДНА...»
(КОНФЛИКТ ЖИЗНИ И СМЕРТИ ПО РАБОЧИМ ТЕТРАДЯМ,
ДНЕВНИКАМ И ПИСЬМАМ А. Т. ТВАРДОВСКОГО 40-Х ГОДОВ)**

С. Р. Туманова

Российский университет дружбы народов

Поступила в редакцию 12 октября 2015 г.

Аннотация: в статье впервые исследуется особенность конфликта жизни и смерти в сознании А. Т. Твардовского в годы войны на материале дневников и писем поэта. Прослеживается трансформация образов природы, дома и дороги и многих других. Твардовский приходит в своих размышлениях к пониманию смысла жизни именно в ощущении себя в цепи поколений.

Ключевые слова: жизнь, смерть, война, природа, дом, дорога.

Annotation: the article first examines the peculiarity of the conflict of life and death in the mind of Twardowski in the war on the material of the diaries and letters of the poet. Traces the transformation of nature images, houses and roads and many others. Twardowski comes in their mind to the understanding of the meaning of life it is in the sense of being in the chain of generations.

Keywords: life, death, war, nature, house, road.

В годы войны понятия жизнь и смерть наполняются новым содержанием. «Грандиозность основного конфликта между Родиной и захватчиками, между жизнью и смертью показала, обнажила, укрепила исходные, коренные ценности родной жизни, создала особое новое пограничное состояние человека между жизнью и смертью – и особую напряжённость, силу жизни в этом состоянии», – отмечает А. Македонов в своём исследовании «Творческий путь Твардовского. Дома и дороги» [1, 197]. В дневниках Твардовского этого периода сами понятия жизни и смерти, тем не менее, встречаются реже: слишком велико стало их значение для каждого человека, слишком тонка грань между ними, слишком весомы стали они в дни, когда жизнь и смерть каждого были равны. Близость смерти в любой момент придавала особую остроту жизни. «Твардовскому выпала задача, – утверждает исследователь творчества Твардовского В. Акаткин, – воплотить главный конфликт нашего времени: противостояние жизни и смерти. Никогда, ни в какие другие эпохи этот конфликт не был главным, хотя, разумеется, о финале человеческой истории, даже о конце света размышляли немало. Причём это противоречие не отдельной человеческой судьбы, а судьбы народа, Земли, Вселенной» [2, 276]. В первые дни войны Твардовского поражило несоответствие, контраст между красотой, покоем природы и жестокостью войны: «Помню, – вспоминает он о поездке в Канев, – тревожно-чистое голубое с лёгкой дымкой и золотистостью небо раннего полудня».

И далее: «И ожидание, ожидание чего-то, что обязательно должно было произойти. Небо, решётки и переплетения моста, и внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра. О! – сказал кто-то коротко и, пожалуй, даже раньше, чем белый столб возник из синей воды и послышался тяжёлый чох разорвавшегося в воде снаряда» [3, 33]. Усугубились эти впечатления от разгрома Днепровской флотилии и переживанием возможной личной гибели. Война нарушает и гармонию самой природы, и гармонию взаимоотношений её с человеком. В воспоминаниях о проезде через Украину в первые дни войны возникает тот самый контраст между жизнью и смертью: с одной стороны, беженцы, судьба которых неизвестна и, скорее всего, жестока, с другой, – поля цветущей пшеницы: «Как поразил меня запах в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, – густой медовый запах, исподволь сдобренный ещё чем-то вроде мяты» [4, 4, 230].

Здесь просматривается и конфликт дома и дороги: дом олицетворяют поля цветущей пшеницы, а дорога – это вынужденная дорога людей, потерявших дом. Возникает и тургеневский мотив: тоска по дому, вызванная знакомым запахом. И хотя нет здесь прямых слов о противоречии природы и войны, вывод напрашивается сам собой: только слияние с природой, с бесконечностью и вечностью мира природы, когда человек ощущает себя хозяином, даёт возможность выжить в любых обстоятельствах, даёт ему право на бессмертие. Если Твардовский признаётся в письме жене Марии Илларионовне 12 октября 1941 года: «Десятой доли того, что вижу и думаю, и слышу, я не выписываю в своих стихах и пр.» [3,

47], то тем сильнее он чувствует необходимость «находить в себе силы для ободряющего слова, это слово, которое либо заключённой в нём доброй шуткой, либо душевностью своей согревает чуть-чуть, расшевеливает то инертное, тягостное безразличие, которое незаметно уживается в сознании усталого от боёв и тягот человека. А каких слов он стоит, этот человек!» [3, 48]. Даёт себя знать тяжесть впечатлений от отступления нашей армии, от гибели огромного количества людей, но сила духа в самых тяжёлых обстоятельствах является мерилом ценности человека: «Устал я немного не так физически, как душевно. Но не поддаюсь и никогда не поддамся... Сейчас как раз та пора, когда нужно показать себя человеком» [3, 49]. Твардовский размышляет о том, что много позднее выскажет в стихотворении «Я знаю: никакой моей вины»: «А под боком — война — все та же — жестокая, трудная, стоящая столько жизней, столько страданий. По возвращении чувствую охоту и готовность жить, работать с большим по возможности толком. Единственно сам я в состоянии оправдать свою «сохранность» физическую за все это время» [3, 67]. Так уже в начале 1942 года появляется чувство вины и ответственности перед павшими, чувство, необходимое для художника, стремящегося сказать правду о войне. Обостряется и чувство возраста: «Постарел, наконец, не кокетства ради, а в действительности. Уже многое, многое не трогает меня из того, что так мешало сосредоточенности в годы до 30-ти. Правда, это потери не только дурного, но и другого — бескорыстной жадности к жизни, неутомимого любопытства юности и т. п.

Беречь свое время, делать больше — жить — пока есть у тебя жизнь — достойнее и тверже» [3, 67].

Чувство старения будет нарастать с каждым годом, а точнее с каждой тяжёлой ситуацией, будь то личные трагедии или общественные события, а чаще всего сплетающиеся в один комок невзгоды и потери, касающиеся собственного творчества или любимого журнала. Но «жить достойнее и твёрже» — этот девиз останется до конца, также как и «жадность к жизни», и «неутомимое любопытство юности». И первым же свидетельством этого становится запись через два дня в «Рабочих тетрадях». Твардовский в это время находится в поездке под Воронежем. Для него, родившегося и выросшего в лесной части России, природа степи была и нова, и интересна, и он подмечает все особенности её проявлений: «Дня три свистела такая страшная, предвесенняя вьюга, какие, наверно, только здесь в степи и возможны... А сегодня утихло, прояснилось и стало хорошо, морозно и тихо. Вечером опять закат, почти такой, как тот, что поразил меня дней пять назад. Тогда я остановился и долго не мог оторваться не от самой картины, а от самого себя, от своего необычайного состояния. Вряд ли когда

в жизни был так взволнован зимним пейзажем. Закат стоял над дорогой — широкой, укатанной зимней степной дорогой на выезде из деревни. И на необычайном малиновом фоне его вставали густые синие и серые дымы деревни» [3, 77]. Но не только красота и необычность пейзажа так действовали на поэта. Этот простой русский пейзаж помогает ему ощутить всё величие Родины, почувствовать трагизм момента и понять свою глубокую связь с её историей: «И все было так непередаваемо говоряще и значительно — степь, Россия, война — что сжималось сердце» [3, 77]. И вновь он относит особенность своего восприятия мира к возрасту: «Может быть, это зрение уже моего возраста.

Чувствую вообще, как бесповоротно и всерьез переступил последний порог поздней юности» [3, 77].

Однако прежде всего его беспокоит не внешнее старение, а потеря главного двигателя человеческой жизни — любопытства к «книге жизни»: «Страшно и больно, что утратилось что-то — не молодость, свежесть внешняя, — а то страстное любопытство ко всему — книге жизни, памятьливость и т. д.» [3, 77]. Но более всего у поэта вызывает горечь потеря ощущения ожидания будущего: «а — главное, какой-то неизменный радостный праздник в будущем, в который теперь еще смутно верится порой, но больше по привычке» [3, 77]. Сравним похожую мысль у Бунина: «Сколько лет представлялось, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное...» [5, 74]. Твардовский, как и Бунин, стремится выйти из состояния безнадежности. Если у Бунина, как пишет Ю. Мальцев, «спасительное успокоение приходит от созерцания безмятежной гармонии природы и от сознания её непостижимой тайны», то для Твардовского осознание смысла жизни приходит через такие понятия, как честь и благородство. Твардовскому свойственно и постоянное толстовское наблюдение над собой, постоянный анализ своих чувств и переживаний: «Видел одну девочку, уже девушку, но очень молодую, очень милую, хоть и провинциальную. И заметил за собой, что не потянуло смущать ее головёнку чем-нибудь, и смотрел на нее с невольной и приятной мыслью, что скоро у меня будет такая дочь. И вообще все пустое надоело. Мысли об опасности, смерти тоже притупились. Постепенно все становится на место. Если не вести себя на этой войне, как следует, то и оставаться жить после незачем» [3, 78].

И в письме, посланном в тот же день Марии Илларионовне, хотя и есть жалобы на неустройство быта, мешающее творчеству, но он пытается найти и находит то, что выводит его из тяжёлого настроения: это и «замечательно интересные люди», и природа тех мест, «бунинских, тургеневских». Так, успокаивая жену, он сам убеждает себя в лучшем: «Но, наверно, когда ты получишь это письмо, будет много хороших новостей...

Наверно, после этой столь длительной командировки что-нибудь изменится и в моей жизни, м. б., наконец, придёт телеграмма об отпуске. Я теперь чувствую, мог бы писать. На фронте дела хороши...» [3, 78].

Страдания от требования «календарно-кампанейских всплесков поэзии», настоятельное желание, а с апреля 1942 года неотступная потребность написать что-либо серьёзное — «Война всерьёз, поэзия должна быть всерьёз» [3, 90] — выводят Твардовского «к мысли о продолжении поэмы о Василии Тёркине» [3, 102]. Поэма стала смыслом жизни: «Вскоре у меня было уже такое ощущение, что без этой работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить. Что это мой подвиг на войне» [3, 107]. 30 июля 1942 года Твардовский пишет жене о том сложном положении, которое сложилось на фронте в это время: «Судьба всех нас, всей страны ещё никогда, даже в прошлом году, не была так условна. Если бы ты могла представить себе, в кругу каких мыслей мы живём здесь. Не буду говорить даже в письме с okazji» [3, 113–114]. Тем не менее, а может быть, именно поэтому поэт так заботится о необходимости печатать «Тёркина», «вещи, которая так нужна сейчас», и именно в центральной печати. По мере продвижения «Тёркина», по мере того как к нему приходит всё больший успех, Твардовский в письмах и «Рабочих тетрадях» говорит о большом душевном подъёме: «Я чувствую себя в силах сделать нечто очень нужное людям, которых люблю так, что при мысли о них сердце сжимается» [3, 153]. И здесь вновь возникает слово подвиг по отношению к поэме: «такое ощущение честного счастья, как если бы я совершил подвиг или готовился к нему...» [3, 134]. Но чувство счастья оказывается «тревожно-радостным». Поэт настаивает на этом определении, оно не случайно: «Это чувство именно тревожное, я чувствую, что за этим может теперь идти только что-то для меня печальное...» [3, 134].

«Я работаю как никогда ещё в жизни. Я думаю, что единственно этим я и должен по крайней возможности заниматься. Это будет не всегда... И если я выполню моё главное дело в наше время войны — мой подвиг, не боюсь повторить это, то всё будет хорошо...» [3, 160]. Твардовский постоянно размышляет об особенностях сознания человека, участвующего в войне. После освобождения Смоленска побывав в родных местах, на малой родине в октябре 43 года, он записывает: «Никаких родных мест, никаких впечатлений, примет узнавания. Только война с ее характерными приметами и чертами, присущими ей всюду, где я ее видел. Ночлег в кустах под дождем у Красногорья меньше напоминал о детстве, ночевках в сарае на сене и т. п., больше о войне, о том, где уже приходилось лежать, ждать, думать» [3, 197]. Радость события освобождения родного города, устройство родственников в городе, куда он их вывез

из деревни — всё это, тем не менее, не заслоняет боль поэта за родные места, где он «родился и рос и о чем давно уже привык думать на расстоянии»: «было даже что-то неудобное, неприятное для души в том, что все это — ночевка, выпивки и разговоры, обычные в таких случаях, — все это здесь» [3, 134]. Этот мотив неузнавания не отпускает поэта. В нескольких записях подряд он развивает и углубляет его. Он находит сходное состояние в том впечатлении, которое произвели на него поиски могилки сына через год после похорон. «Когда-то приехал в Смоленск через год после похорон сына Саши на кладбище у Калининского завода, и к стыду, горю и страшному для себя еще какому-то чувству — не нашел его могилки. Что-то подобное испытал, когда не смог «на местности», поросшей всякой дрянью запустения, найти место, где был наш двор и сад, где росли деревья, посаженные отцом и мною самим.

Не нашел ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, могу представить себе весь до пятнышка с пятачок и с которым связано все лучшее, что есть во мне — поэтическая способность. Более того — это сам я как личность. Эта связь всегда была дорога для меня и даже томительна» [3, 198]. Утрата внешних примет существования человека на земле, по мысли Твардовского, делает его ненужным в этом мире и в то же время востребованным для его возрождения: «Если так стерто и уничтожено все то, что отмечало мое пребывание на земле, что как-то выражало меня, то я становлюсь вдруг свободен от чего-то и не нужен. Но потом подумалось: именно поэтому я должен жить и делать свое дело. Никто, кроме меня, не воспроизведёт того неповторимого и сошедшего с лица земли мирка, который был и есть для меня и теперь, когда ничего от него не осталось. Да, пожалуй, только теперь я и в силах воспроизвести его правдиво и ясно» [3, 198–199]. В этой записи заключено очень многое: и ощущение неразрывной связи с родным домом, из которого он когда-то рвался в большую жизнь, и понимание своей роли и роли всякого художника — запечатлеть то, чего другие не знают, не замечают. Внешнее уничтожение примет пребывания человека на земле вызывает к жизни необходимость памяти, так как человек оказывается не нужен без его памяти и без памяти о нём. «Память выступает как целостное восприятие, выражающее сознание миллионов участников войны, — отмечает В.В.Ильин, — как движение времени, как неразрывная связь поколений; она выполняет функцию доминанты, направляющей путь творческих, поэтических поисков и открытий Твардовского» (6, 73). Таким образом, Твардовский приходит в своих размышлениях к пониманию смысла жизни именно в ощущении себя в цепи поколений.

Особенно пронзительную боль ощущает поэт, когда видит сохранившийся «уголок деревенского огорода с молодой вербочкой у изгороди, с опрят-

ными грядками, густо заросшими ботвой бурачков и моркови, с желтыми осенними цветами на затравеневших клумбах под окошками избы», но при этом помнит о «повсеместном разорении и уродстве», которое принесла война. «Больно и тоскливо» – этими словами поэт определяет своё чувство к родной земле. И сохранность его клочков вызывает лишь боль: «И вдруг от этого милого уголка, от его сохранности — больно и тоскливо. Потому что это редкость среди повсеместного разорения и уродства».

А дальше все больше обидной сохранности, даже некоторого обидного зажитка» [3, 199].

Сложность бытовой жизни на фронте усугубляет невесёлые мысли Твардовского и мешает его работе. Изменения отношения к жизни на войне Твардовский наблюдает и в своём сознании, и в сознании «тех, которые давно на войне и более или менее сохранны физически» [3, 202]. Если он «не мог ничего читать в первый год войны, всё казалось сметённым ею», то теперь он говорит о необходимости «почитать добрую книгу», чтобы «ожить душевно и умственно, ощутить прочность того, что создано не на шутку» [3, 202]. Его поражает, что война «уже стала нормальностью для людей, что необыкновенным, труднопредставляемым является не она, а наоборот» [3, 202]. В этом, несомненно, работает защитный механизм сознания людей. Неизбежность войны заставляла приспособиться к такой жизни, война перешла на другой уровень, и Твардовский замечает это: «живут как будто так и надо, устраиваются получше, не мельтешат уже, не позируют, не увлекаются, а делают, тянут...» [3, 202].

Продолжая работать над «Тёркиным» и параллельно над «Домом у дороги», Твардовский, несмотря на все сложности жизни во всех её областях, тем не менее, верит в свои силы и на пушкинский вопрос «Куда ж нам плыть?» отвечает: «Но я твёрд духом и веду мой корабль дальше...» [3, 211].

Первоначальный замысел включить в поэму главу «Тёркин на том свете», о чём он пишет в «Рабочих тетрадях» 3 и 19 января 1944 года, сменяется другим: глава, которая сначала называлась «Тёркин и смерть» в окончательном варианте получила название «Смерть и воин». Её философское звучание косвенно отмечается самим Твардовским в словах: «Одна из ближайших «философских» глав «Кто воюет на войне» [3, 232]. Главе «Смерть и воин» в «Рабочих тетрадях» и в переписке с Марией Илларионовной уделяется особое внимание. Она была написана «одним присестом», что с гордостью отмечает Твардовский: «Кажется, это рекордная выработка за всё время писания этой книги» [3, 232]. Он несколько раз перерабатывает главу, стремясь сделать её лучше, но как он сам признаётся, «подпортил удлинением и украшением». И сам даёт себе задание «освободить всё дельное и живое от излишнего и надуманного». Но вновь

и вновь возвращается к написанному. «Третий вариант “Смерти”» [3, 233] – записывает он ещё раз. Однако глава эта в печать шла с большим трудом. В редакции «Красноармейца» она «вызвала злоеший шум и толки» [3, 241]. В редакции требовали сокращения тех частей поэмы, где упоминалось о смерти, в частности из главы «Кто стрелял» исключили 24 строки со слов «Смерть есть смерть. Её прихода все мы ждём по старине», 4 строки из «Переправы»: «И увиделось впервые, Не забудется оно...», а также из главы «Гармонь»: «И забыто — не забыто, Где жена и где тот дом».

По воспоминаниям Марии Илларионовны, в годы войны «изымалось всякое упоминание о гибели и смерти. С точки зрения военной редакции, советская армия представляла собой в полном смысле слова коллектив бессмертных бойцов» [3, 246]. Она же указывает на значение мотива смерти для творчества Твардовского: «Теперь у тебя есть «Смерть и воин», — пишет она в письме — где ты выложил, отпел за раз все эти волновавшие тебя в своё время мотивы» [3, 245]. Работая над третьей частью «Тёркина»? Твардовский пытался внести что-то новое в поэму, оживить её. И только глава «Смерть и воин» его удовлетворяла: «Третья часть, кроме «Смерти», меня сейчас всё более расстраивает» [3, 252]. Мария Илларионовна, анализируя написанное, в ответ на просьбу Твардовского дать ему совет пишет: «Ты говоришь, что во всем разочаровался, кроме «Смерти и воина». А я скажу, что это неправда. «Смерть и воин» — это лебединая песня твоя, прощание с прежним Теркиным. Недаром она возникла уже тогда, когда ты почувствовал необходимость лепить образ дальше. Конечно, это сильная глава. Но в твоих несовершенных новых главах больше заложено потенциальной энергии и больше творческих возможностей, чем в этой самой совершенной главе. Она вся в прошлом, эти все — в будущем [3, 254]. Но Твардовский, как известно, будет продолжать тему жизни и смерти и создаст философские шедевры лирики последних лет. Известный философ Михаил Гефтер не случайно, говоря о роли вечного мотива смерти в поэме «Дом у дороги», утверждает: «Но смерть, смерть... Рядом, вблизи, внутри. Уяснение = открытие жизни (и смысла, и красоты, и трагичности её) через смерть, что равно превозмоганию смерти – таков нерв высокой поэзии» [7, 217].

С середины 1944 года в записях Твардовского меняется настроение: «Мне так хотелось всё время немного чего-нибудь радостного во внешних вещах – какой-нибудь весточки о каком-нибудь движении» [3, 257]. Мотив движения, дороги выходит на первый план. Теперь дорога войны, повернувшая на запад, олицетворяла саму жизнь. Жизнь для поэта не существовала без творчества. Поэтому понятно, что дорога помогала ему и в этом.

Само ощущение движения помогало творить, передавалось и в поэзию:

«В дороге же и ещё на выезде задумалось стихотворение о четвёртом лете войны. Похоже, что я думаю, только когда снимаюсь с места, а в остальное время только перемалываю и утаптываю» [3, 258]. В дневниках и письмах этого периода Твардовский старается передать свои ощущения счастья, полноты жизни от движения: «Дни чудесные, настроение поголовно праздничное, и я, плохо ли, худо, пишу чего-то с жаром, как в первые дни войны, только по другой причине» [3, 261]. «Мы в большом движении, растянулись эшелонами, трудно, но хорошо» [13, 261]. «Я испытываю сейчас хороший подъём духа, беззастенчивость относительно планов и замыслов и желание только с доброй нагрузкой на своём посту служить, как положено, в такие дни» [3, 264]. «...Я всё время на колёсах с малыми остановками в пути» [3, 266]. «Я в таком непрерывном движении, что не нужно удивляться, если и подолгу не будет от меня ничего...» [3, 269].

В рассказе появляются глаголы, передающие энергию жизни: «врываемся», «вклиниваемся», «выпрыгнули». И ощущение собственных творческих сил: «Я в бездне новых ощущений, мне бы только время и место, только бы приземлиться, я бы мог писать всё...» [3, 267]. Но с другой стороны, среди этих радостных строк возникают тяжёлые размышления о войне: «Почему так устала душа ото всего и не хочется писать, надоела война?» [3, 277]. Этому сопутствует и чувство вины, которое так ярко проявится в послевоенной лирике философского звучания: «По той же, кажется, причине, по которой мужик, помогавший другому мужику колоть дрова тем, что хекал за каждым ударом, первым устал, говорят, и отказался от работы, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем, а люди рубят» [3, 277].

Твардовский старается проникнуть в психологию людей в конце войны: «Всё отволновалось, человек как бы говорит: хватит, дайте мне просто небо, без самолётов, дайте мне просто шутку, без смерти, стоящей за ней» [3, 252]. И сам признаётся в огромном влиянии войны на его сознание и творчество: «А я уже знаю, что мне уже в жизни, если буду жив-здоров, ни за что не возьмётся, кроме войны, которую я к тому же и не могу понять до конца...» [3, 252]. И далее мысль о зависимости самоощущения возраста от войны: «Как бесповоротно мы постарели от неё, как много ушло, втоптанно в эти годы. И о многом (не самом ли главном?) уже нельзя начать говорить, не сказав вслух или мысленно: это было, когда война ещё шла на нашей земле» [3, 308].

Твардовский повторит эту мысль и в своём выступлении на X Пленуме правления Союза писателей СССР в 1945 году, когда скажет, что о периоде войны «на всю жизнь хватит думать», и в записи в августе 1944 года: «Кажется, вообще не осталось ни одного

перехода во времена года, ни одного памятного ощущения, запаха, чтоб это уже не связывалось с войной. И, наверно, всю жизнь будет напоминать она всем, что есть самого дорогого в природе» [3, 284]. И в письме Марии Илларионовне от 22 апреля 1945: «На всю остальную жизнь, коль так уж суждено мне остаться живым на этой войне, на всю остальную жизнь мне хватит думать и выражать то почти невыразимое, чем наполнилась моя душа за эти годы. Она даже опасалась наполняться вполне, потому что она, душа, у меня слабая, можно сказать, бабья – и не выдержала бы. И конечно, я уже говорил как-то, что никогда мне, о чём бы я ни писал впредь, не уйти от внутреннего фона, если можно так сказать, который всё освещает собой, самое далёкое от него» [3, 378]. И, наконец, выльется в стихотворении «Жестокая память написанном в 1951 году:

И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война [4, 3, 53].

Твардовский, выросший на хуторе, привыкший с детства наблюдать природу, жить в ней и с ней, не мог и во время тяжёлых испытаний войны не замечать её проявлений. Более того, явления природы отражают его отношение к жизни на разных этапах войны. Антиномия природы и войны как жизни и смерти, появляющаяся в записях первых месяцев войны, заменяется обострённым чувством родины, находящейся в опасности, затем появляется боль за поруганную землю, за неузнавание родных мест. С 1944 года начинают появляться описания, в которых Твардовский со свойственной ему детальностью передаёт мир возрождающейся после войны жизни. В записях этого времени меняется лексика, всё больше используются слова с положительной окраской: «Дни чудесные, настроение поголовно праздничное» [3, 263]. «Я испытываю сейчас хороший подъём духа, беззастенчивость относительно планов и замыслов и желание только с доброй нагрузкой на своём посту служить, как положено, в такие дни» [3, 264]. «Всё полно предчувствия наилучших неожиданностей» [3, 264]. «Купанье, трезвость, неизменное чувство хорошего, что происходит и что стоит прямо-таки в воздухе...» [3, 265].

В «Рабочих тетрадях» и в письмах жене среди забот о публикациях «Василия Тёркина» и размышлений о войне всегда находят строчки о природе. «Утро августовское, зернистое, с осенней свежестью и дымным густым туманом так вдруг напомнило утро где-то под Каневом на левом берегу Днепра в 1941 г.» [3, 284]. Это воспоминание о своих впечатлениях о первых днях войны, в частности, о природе, которая в те дни была созвучна настроению людей: «Помню тревожно-чистое голубое с лёгкой дымкой и золотистостью небо раннего полудня» [3, 284]. А в конце войны признание поэта: «Только теперь, ка-

жется, я научился любить природу не только загорьевскую, смоленскую, русскую, а всю, какая есть на божьем свете, любить, не боясь в чём-то утратиться, потерять свою «самобытность», не томясь, свободно» [3, 288], признание поэта не только в любви к природе, но и к самой жизни, победившей смерть.

ЛИТЕРАТУРА

1. Македонов А. В. Творческий путь Твардовского: Дома и дороги / А. В. Македонов. – М., 1981. – 366 с.
2. Акаткин В. М. А. Т. Твардовский. Страницы творчества. Работы разных лет / В. М. Акаткин. – Воронеж: ВГУ, 2008
3. Твардовский А. «Я в свою ходил атаку...» Дневник. Письма. 1941-1945 / А. Твардовский. – М., 2005, 398 с.
4. Твардовский А.Т. Собр. соч. в 6-ти томах / А. Т. Твардовский. – М., 1976–83 гг. (Далее цитирую по этому изданию с указанием в скобках тома и страницы).
5. Мальцев Ю.В. Иван Бунин. 1870-1953 / Ю. В. Мальцев. – Посев, 1994. – 432 с.
6. Ильин В.В. «Сказать хочу. И так, как я хочу» А Твардовский: Поэтика мужества и самостояния / В. В. Ильин. – Смоленск, 2011. – 292 с.
7. Твардовский А. Т., Гефтер М. Я. XX век. Голограммы поэта и историка. Сост.: Е. И. Высочина. – М., 2005. – С. 22.

*Российский университет дружбы народов
Туманова С. Р., кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка
E-mail: svetla-tumano@yandex.ru*

*Russian Peoples' Friendship University
Tumanova S. R., Candidate of Philology, Associate Professor
of the Russian Language Department
E-mail: svetla-tumano@yandex.ru*